

Новый Журнал

THE
NEW REVIEW



Основатель М. ЦЕТЛИН

Тринадцатый год издания

Кн.
XXXVII
1954

ЧЕХОВ*

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

Началось всё это с малого, а получилось большое. Кучка любителей ставила своими силами спектакли в том Охотничьем клубе на Воздвиженке, что знаком каждому московскому человеку моего возраста — просторный особняк рыже-коричневого цвета в глубине обширного двора с решеткою на улицу. Это барский дом, принадлежавший Шереметевым. В девяностых годах сдавался он под балы, спектакли, маскарады.

Константин Сергеевич Алексеев, актер любитель, энтузиаст с Хивы за Москва-рекой, и Владимир Иванович Немирович-Данченко, драматург и режиссер — это и были отцы Художественного театра. Его история есть образ всех дел, подвигов увлечением, преданностью и талантом. Сперва всё робко, чуть не на волоске, а потом крепнет, подбираются участники, растет вера в успех. И рождается задуманное. Так вышло и тут. В какую-то минуту в клубе оказалось тесно, надо открыть свой театр.

С весны 97 года начался набор пайщиков для поддержки его. Шел он довольно медленно, всё же летом 98 года репетировали уже к зимнему сезону. Чехов знал и Алексеева-Станиславского и Немировича. Очевидно, в их театр поверил, сразу дал свой пай. Но этого еще мало. Новому театру, выступавшему с новыми приемами в простоте, жизненности постановок и исполнения, нужен был новый современный автор.

Немирович ближе сошелся с Чеховым той зимой 97-98 г.г., когда оба жили на юге Франции. «Чайку» он знал и раньше,

* См. кн. 36 «Нов. Журн.».

Copyright 1964, by „New Review Inc”. All rights reserved.

очень ценил и хотел её для театра. Немирович был сильный человек, с темпераментом и выдержкой. Всегда казался разумным и здравомысленным, свежим и смелым.

«Чайку» не он один оценил, несмотря на её неуспех в Петербурге. Но нужна была его воля, упорство и сила, чтобы пьесу достать и поставить.

Препятствий оказалось два: нежелание Чехова и непонимание Станиславского.

При Чехове трудно было и заикнуться о «Чайке» — слишком у него наболело. Но Немирович весной 98-го года не только заикнулся, а в упор попросил «Чайку» для первого же сезона (открывали «Царем Федором Иоанновичем»). Чехов отказал — не желает больше театральные волнения. Немирович написал ему вторично, 12-го мая: «Если ты не дашь, то зарежешь меня, т. к. «Чайка» единственная современная пьеса, захватывающая меня, как режиссера, а ты единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром».

На этот раз Чехов ответил по другому, будто и полушуткой, приглашением приехать к нему в Мелихово, за что он готов отдать «все свои пьесы». «Чайка» прямо не упоминается, но Немирович понял, что ставить её можно.

Значит, оставался Станиславский. И получилось замечательно. Станиславский сам говорит: «к стыду своему, я не понимал пьесы». Это еще не так удивительно, в литературе он вообще мало понимал, особенно в верхних её этажах. Но всё-таки занялся мизансценами непонятой (и значит нелюбимой) пьесы. Уехал летом в Харьковскую губернию и оттуда присылал эти мизансцены в Москву, где начали уже репетировать. В августе «Чайка» вошла в репертуар, а труд Станиславского — через силу и наугад — оказался первостатейным.

Так начинала «Чайка» свою вторую жизнь, воскресала из поношения, и опять её судьба соединялась с судьбой и жизнью самого Чехова. 9 сентября он приехал из Мелихова в Москву. Извозчик подвез его к подъезду Охотничьего Клуба в ту же

самую минуту, что и Лужского — Сорина в «Чайке». Они не были еще знакомы. Лужский узнал его по портретам. Чехов вообще ни с кем в труппе не был знаком, кроме Станиславского. В этот-то вечер Немирович представил ему Роксанову, Книппер, Лилину, Лужского, Тихомирова и других. (Артём позже вошел в состав).

Из всех них запомнил он сразу, и теперь уже навсегда, Ольгу Леонардовну Книппер, молодую артистку, едва начинающую, весьма даровитую и с большим женским обаянием. Она играла не Чайку (Нину), а Аркадину, играла отлично, но не в том было дело.

В Москве Чехов пробыл до 14-го. Вечером с курьерским поездом, который идет мимо Андрониева монастыря и завода Гужона на юг в Крым, проносясь мимо Царицына с екатерининским дворцом, мимо березовых рощ Бутова и чеховской же Лопасни, он уехал в Ялту, не зная еще, что отца уже больше никогда не увидит, что Ялта станет всегдашним его пристанищем, а молоденькая актриса Книппер последним прибежищем.

За эти несколько дней он в Москве видел и репетиции «Царя Федора». Работа над этой пьесой зашла далеко, много дальше, чем в «Чайке». Чехову очень понравилось. «Перед отъездом я был на репетиции «Фед. Иоанн.»; со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепно. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым; Годунов и Шуйский хороши. Но лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину».

Царя Федора играл Москвин. Сказать про лучшего актера Художественного театра «плоховато» можно только будучи ослепленным Ириной. Так оно и случилось. Все мы видели этот спектакль. Один Чехов против всех и будет говорить, даже до нынешнего дня, что Федор плоховат (а Ирина великолепно).

Премьера «Царя Федора» почти совпала с кончиной в Мелихове Павла Егорыча. Немирович с артистами послал Чехову соболезнование. В ответном письме Чехов благодарит и пишет о их первом успехе: «Я очень, очень рад, так рад, что ты и представить себе не можешь». Он читал уже у себя в Ялте отзывы газет. Не совсем доволен только одним: «Отчего не пишут об Ирине-Книппер? Разве вышла какая-нибудь заминка? Федор у вас мне не нравился, но Ирина казалась необыкновенной; теперь же о Федоре говорят больше, чем об Ирине».

«Царь Федор» шел хорошо и делал сборы. Но только он. Другие пьесы не удерживались в репертуаре. А «Ганнеле» не пропустила духовная цензура — дела театра оказались очень зыбки. В запасе одна «Чайка», на неё все надежды. Если она провалится, то чуть ли не конец театру.

Разумеется, все очень нервничали в день первого представления. Мария Павловна помнила вечер в Александринке и билет свой передала брату Ивану. Но всё-таки не утерпела и во время первого действия пробралась к брату в ложу.

Станиславский так волновался, что когда, сидя на сцене спиной к залу, слушал монолог Нины, должен был рукой поддерживать ногу, чтобы не очень дрожала. От всех артистов пахло валерианкой.

Публики было мало. Но слушали первый акт внимательно. Мария Павловна в ложе чувствовала, что здесь что-то другое, не так как в Петербурге. И ей самой очень нравилось.

Когда акт кончили, тишина продолжалась. За сценой началась паника, безмолвная, убийственная — еще шаг и с актрисами начнутся истерики. Но как раз тут и прорвалось — зрители молчали вначале от нервности, силы впечатления, а потом сами впали чуть ли не в иступление.

Критик Эфрос вскочил на стул, «кричал, бесновался, плакал, требовал послать Чехову телеграмму».

В самой «Чайке» есть слова Дорна: «Как все нервны! Как все нервны!» — они приложимы не только к пьесе, а и вообще к интеллигентам того времени. Вспоминая его, ска-

жешь: да, все мы, тогдашняя молодежь, были очень нервны, чувствительны. У Чехова в пьесах часто девушки плачут. Не одни девушки плакали и «переживали»: весь просвещенный, средний (интеллигентский) слой русский был довольно мягок, легкоплавок и возбудим, да и чувствителен. Теперь это уже история, воспоминание, но тогда было именно так. «Чайку» играли молодые актеры, зрители были их же породы и друг друга они понимали. Помню себя и ту молодежь, среди которой жил. Мы все перебывали на этой «Чайке» в первый же сезон и для нас она оказалась событием. Не просто пойти в театр: потом чуть не до утра волноваться, разглагольствовать, «переживать».

Так и сами актеры обезумели, из них первый же как раз Станиславский. Кидались друг другу на шею, обнимались, плакали. На вызовы выходили с перекошенными лицами — страшно было смотреть. Становились к публике боком, а после занавеса пускались в дикий пляс, опять-таки Станиславский бешенелся первый.

«Чайка» прошла с триумфом. Вызывали автора, но он сидел в зимней, с ветрами, с бурным морем Ялте. Ему отправили телеграмму от зрителей. И потом полетели другие телеграммы, пошли письма. Верная Мария Павловна, сам Немович, Вишневский — бывший товарищ по гимназии в Таганроге, кума Щепкина-Куперник, все радостно приветствовали. «Ах, если б Вы могли почувствовать и понять, как мне горько, что я не могу быть на «Чайке» и видеть всех вас! Телеграммы из Москвы совсем выбили меня из колеи» (Вишневскому). «И письмо Ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, принесшей мне вести о «Чайке», были Вы, милая, незабвенная кума» (Щепкиной-Куперник).

Сначала произошла некоторая заминка со спектаклями — Книппер заболела и нечем было заменить её, но потом всё наладилось и успех оказался огромным.

Театр с нескладным названием «Художественно-Общедоступный» помещался в Каретном ряду, в доме Мошнина.

Этот Мошнин был приятелем моего отца. Премьеры «Царя Федора» и «Потонувшего колокола» видели из литерной ложи Мошнина — проходили коридором прямо из его квартиры.

Перед зданием театра («Эрмитаж») была небольшая площадь. По ночам на ней дежурили студенты и курсистки за билетами на «Чайку». Приходили со складными стульчиками, пледами, укутывались, читали под фонарями книжки. Иногда устраивались тут же танцы, чтобы согреться. Ждали дня и открытия кассы. Всё это происходило именно в России.



Довольно давно, осенью 89-го года, Чехов написал на-спех пьесу «Леший». Нельзя сказать, чтобы, работая над ней, следовал совету своего «благовестителя» Григоровича — тот настаивал на серьезнейшем писании. Но Чехов тогда был еще молод, довольно самоуверен, отчасти ослеплен первыми успехами. Путь его только еще начинался. Владели им и навыки прошлого.

Плод получился поучительный. «Иванов» написан годом раньше, тоже очень скоропалительно, но в сравнении с «Лешим» это совершенство. Прошел год и за этот год Чехов, как драматург, не только не пошел вперед, а отступил назад. «Леший» есть некий хаос, смесь невысокой драмы с повестью и водевилем. Читая его, вспоминаешь местами Чехонте, хотя Чехов написал уже «Степь», «Скучную историю». Собственно «Чехова» в этом «Лешем» едва узнаешь.

Автор получил тысячу рублей гонорара, пьесу поставили в Москве у Абрамовой и Соловцова. Она не провалилась как позже в Петербурге «Чайка», однако этим дело и ограничилось. Ленскому он написал, что «Леший» идет 31 окт. в Александринском театре. Но проявил тут неидушую к нему самонадеянность: пьесу просто не приняли. Председателем Литературно-театрального комитета был тот самый Григорович, который приветствовал его приход в литературу. Он же

и забраковал теперь «Лешего». Чехов очень обиделся, назвал его «двоедушным» и отношения их испортились. Но Григорович был прав. Чехов сам скоро понял, что пьеса слаба. Печатаť её раздумал. А позже был просто в ужасе от неё.

Всё-таки, что-то в этом произведении задевало его. Оставалось какое-то зерно, ему надлежало прорасти. Произошла странная, если не сказать удивительная вещь: из «Лешего» развился «Дядя Ваня». Но за эти годы — с 89-го по 96-й из одного Чехова вырастал другой, заслоняя прежнего. Умер брат, побывал Чехов на Сахалине, остался след Лики, провалилась «Чайка», углублялась болезнь.

Он вернулся к «Лешему». Но вернулся тайком. Нигде в письмах не поминает он «Дядю Ваню», а обычно отписывал даже о мелких вещичках. Тут как бы прячется. Почему? — непонятно. Много позже, когда «Дядя Ваня» уже прогремел, сообщил Дягилеву даже неверную дату: будто написал пьесу в 90-м году. Может быть, в 90-м и пробовал что-то, но сделал по настоящему к концу 96-го. (Письмо Суворину от 2 дек. 1896 г. ...«неизвестный никому в мире «Дядя Ваня». Примечание редактора: «Чехов тогда только что закончил переделку своей старой пьесы «Леший», дав ей название «Дядя Ваня». — Откуда известно это редактору, я не знаю. Но считаю, что он прав. Чехов и Горькому (как Дягилеву) писал, что «Дядя Ваня» написан «давно». Может быть разумел тут странного предка «Дяди Вани» — «Лешего?»).

Про «Дядю Ваню» неправильно сказать, что это только «переделка». Чехов сам не любил, чтобы «Дядю Ваню» называли переделкой — и был прав, явилось на свет Божий нечто новое, хотя 2-3 сцены и близки к «Лешему». В общем же всё овеяно другим духом, написано возросшим человеком.

Две линии идут в «Дяде Ване», они связывают пьесу с прошлым Чехова и с будущим его. Доктор Астров жалеет лесá и об истреблении их скорбит, как в давней «Свирели» скорбел пастух Лука Бедный. И насаждая свои питомники Астров, в преддверии «Трёх сестер» и «Вишневого сада»

мечтает о будущем, «через сто, двести лет», и даже его занимает, будет ли счастлив человек «через тысячу лет».

Есть и мотив бездельно-томящихся, неплохих, слабых людей (Елена Андреевна) — первый звук будущего «в Москву, в Москву!»

По настоящему же украшают жизнь некрасивые и смиренные. (В эту сторону Чехов пойдет с годами дальше и дальше). Их в пьесе трое. Как бы целая партия: Соня, Телегин (Вафля) и нянька. Телегин, у которого лицо в оспинках и от кого давно сбежала жена, жалуется няньке, что его называли приживалом. «И так мне горько стало». Нянька ему говорит: «А ты без внимания, батюшка. Все мы у Бога приживалы».

Астров думает о тех, кто будет жить после «нас» и вот те, «для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!»

Нянька отвечает ему: — «Люди не помянут, зато Бог помянет».

Нянька эта замечательна. В ней есть простота и свет, как в о. Христофоре. Она всех утешает, всех согревает, так же естественно, как делали это и Евгения Яковлевна Чехова, и сестра её Федосья Яковлевна, которую считал Антон Павлович святою.

Некрасивая девушка Соня, влюбленная без надежды в Астрова, в тяжкую минуту прижимается к этой же няньке Марине («Нянечка! Нянечка!» «Ничего, деточка». «Дрожишь, словно в мороз!.. Ну, ну, сиротка, Бог милостив»).

И при той же няньке Соня заключает пьесу прославленными словами, которые из уст Лилиной слушал театр в глубочайшей тиши, в сдержанных слезах и волнении: — «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах, мы увидим, как всё зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежною, сладкою как ласка. Я верую, верую...» «Мы отдохнем».

Занавес медленно задергивался, сходил с двух сторон

к середине, обнаруживая на своем сукне чайку, символ театра. А в зрительном зале мелькали у женских глаз белые платочки. Кой-где плакали и откровенно.

Вот что вышло из «Лешего», где дело кончалось двумя водевильными свадьбами.

«Дядя Ваня» писался укрыто, неожиданно явился в 97 году в сборнике чеховских пьес (у Суворина), сразу пошел в провинцию. Как там играли его, не знаю. Но он имел успех, сильно шел — Чехов удивлялся.

Лишь в 99-м году монументально-величественный Южин, поклонник «Эрнани», пожелал его для Малого театра. Одновременно пожелал и Немирович для Художественного. Чехов был смущен, не знал как поступить. Помогла бестактность дирекции Малого театра (желали переделок для третьего акта). Пьеса досталась Немировичу. 26 октября 1899 года явилась она на сцене Художественного театра. Станиславский играл Астрова, Книппер Елену Андреевну, Лилина Соню, Войницкого Вишневский, Вафлю Артём, няньку Самарина — разошлось превосходно. Может быть лучше всех была Лилина, Мария Петровна Алексеева-Станиславская, жена Константина Сергеевича. Простая, очаровательная, так была верна, трогательна во всех своих словах, действиях. С Артёмом Чехов не был еще знаком, когда писал пьесу, а написал будто сшил для него по мерке. Смиренные заслонили собою всех, но вся пьеса вообще есть прославление смиренных.

Хорошо разыгрался и самый «оркестр» Художественного театра — исполнялось как музыкальное произведение, как музыкальное и доходило в зрительный зал. Теперь уже, видимо, не было таких треволнений, как с «Чайкой». Театр мужал, креп, уже прочно сложились друзья в публике, даже энтузиасты. Успех был большой, и опять Чехов сидел в одиночестве в своей Ялте — слава лишь доносилась.

В «Дяде Ване» — есть черты, волнующие всякое незастывшее сердце. Может быть, особенно пронзала пьеса эта многих из провинции (приезжали в Москву — сейчас же шли

в Художественный театр), задыхавшихся как будущие сестры, в медвежьих углах, так нуждавшихся в утешении, любви. В «Дяде Ване» есть именно утешение и любовь. Сколько Соня из глуши, попадая в Москву на Святки, плакало в этом Художественном театре над этой Соней из «Дяди Вани».



Всё развивалось правильно. В литературе явился Чехов, в театре — Художественный театр, именно к тому времени, когда Чехов стал зрелым художником.

Силен ли он как драматург? Это другой вопрос, мнения могут расходиться, во многом зависит это от того, чего хотят от драматурга. Толстой очень любил Чехова, но находил, что для театра он пишет «хуже даже Шекспира». Несмотря на Толстого, театр принял Чехова. Пьесы его прошли по всей России, а теперь со славою идут по всему миру.

Встреча же Чехова с Художественным театром произошла неспроста: это уже судьба. Нужно было им встретиться — встретились. И определили собою эпоху. Если бы Чехова всегда ставил Евтихий Карпов в Александринке, Россия не услышала бы голоса Сони. Это сделал Художественный театр. Если бы не было Чехова, сам Художественный театр не стал бы национально-русским, внедренным в русскую душу и литературу. Можно отлично играть Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, но это не значит быть национальным театром.

«Дядя Ваня» прошел всё же не с таким триумфом, как «Чайка». В критике, в общем благоприятной, были оговорки. Книппер нервничала, ей казалось, что она взяла не совсем верный тон — писала об этом Чехову. Чехов успокаивал и её, и других, отвечал спокойно (и грустно). Но понимал, что это всё, весь спектакль есть именно успех, прочный и уже долговечный. «Чайка» поразила неожиданностью. Теперь театр утвердился, у него есть лицо, есть правдивость чувствования, скромная простота и жизненность в исполнении. И есть музыкальная стихия. Это театр-оркестр, Чеховские поэмы-пьесы

как раз для него созданы, хотя создавались, когда его еще не было.

Поэтому неудивительно, что именно «Чайка» и «Дядя Ваня» легли в основы его. Не зря на занавесе театра, на серо-коричневых сукнах, бесшумно раздвигающихся открывая сцену, летела белая чайка.

Я Л Т А

«Я зимую в Ялте. Здоровье мое сносно, но в Москву меня не пускают, и вероятно, все будущие зимы, если буду жив, придется проводить здесь». Это написано из Ялты 2 января 1899 г. А через три дня: «Я купил себе участок в Верхней Аутке по пути в Исар и Учансу». Пока же что, живет в самом городе. А на участке, несколько выше, как бы в предместьи Ялты, начинается постройка дачи — теперь уж для окончательного устройства здесь. Мелихово еще не продано, появляются разные проекты, напр., купить для Марии Павловны дом в Москве, но сам он чувствует, что он-то прикован уже к Ялте. Так оно и оказалось. Дóма в Москве не купили, Мелихово осенью продали, Антон же Павлович прочно засел в Ялте.

Только-что блестяще прошла «Чайка» и блестяще продолжала идти, делая сборы. «Гул славы» в Ялту доносился. Чехов к нему не был равнодушен, этого не скрывал. Восторженная статья кн. Урусова в «Курьере», адрес, письма из Москвы, очевидно разговоры и шум в самой Ялте, всё возбуждало — «я словно изнемог» — довольно знаменательно для Чехова (не очень-то распространявшегося о чувствах). «Если бы я не жил в Ялте, то зима была бы для меня счастливейшей в жизни».

Если бы не жил в Ялте... — а между тем не только жил, но и пускал корни.

«Мне скучно». «Скучно и без москвичей и без московских газет, и без московского звона, который я так люблю». Но такой уж для него ход истории: болезнь свое дело делает

и другого выхода, как зимой жить на юге, для него нет. Слава растет, растут средства, а жизнь убывает.

Действительно ли из-за совета Толстого или потому, что Чехов явно шел в гору, но Маркс, издатель «Нивы», предложил ему 75 тысяч рублей за полное собрание сочинений. Договор подписали, часть денег он получил тотчас, остальные в недельные сроки — всё это, конечно, отлично. И всё-таки, всё-таки... — Чехов сам был врач, в Ялте сколько угодно было чахоточных, их присылали сюда с севера. Иногда приезжали они на последние гроши, иногда в безнадежном уже состоянии. Всё это товарищи по несчастью, и сколь многих направляли к нему с письмами московские врачи. Не таков он был, чтобы отказывать, некоторых навещал лично, старался устроить, но в общем для человека полубольного, иногда сумрачного и слабого, всегда почти утомленного, бремя получалось нелегкое. Да и ему самому говорило всё о том же, о том же.

Дом строился быстро и благополучно. Место приятное, над Ялтой, у самой аутской дороги, с далекими видами. И предгорья, и горы, и полоса моря. Чехов считал, что дача его «в 2½ этажа» — белое строение южно-дачной архитектуры, довольно приятного вида, с небольшими комнатами, но и балконами, в общем удобно. С террасы отличный вид. Разумеется сад.

Антон Павлович, как и в Мелихове, понасадил туда всякого добра, только здесь уже южного. Часто пишет он Марии Павловне о постройке. «Делать ли у тебя в башне паркетный пол?». «Аутская дача будет и красива, и удобна. Тебе и мамаше очень понравится. К твоему приезду, т. е. к июню, будет уже всё готово». А потом оказывается: «Подрядчики говорят, что дом будет готов гораздо раньше августа».

Нельзя сказать, чтобы гораздо, но в конце июля «Ялтинский дом очень хорош. Виды со всех сторон замечательные, а из твоей комнаты такие виды, что остается пожалеть, что этого дома у нас не было раньше. Флигель готов совершенно».

(Из чего следует, что дом еще не совершенно). «Все деревья, которые я посадил, принялись. Конопля, ризинусы и подсолнухи тянутся до неба».

Но вот и конец августа, а дом не готов. В комнате «Маши» настилают паркет. Хотели начать оклеивать обоями, но он остановил: пусть сама выберет обои. Обещано, что у неё и «мамаши» всё будет кончено к 1-му сентября. А пока живет он во флигеле. Наняли турка Мустафу, вроде дворника. Но с едой не вполне налажено. В город спускаться далековато, так что по-настоящему обедает он не каждый день. Всё-таки, и постройка и возня в саду развлекают.

Собственными руками посадил он сто роз, лучших сортов. Пятьдесят пирамидальных акаций, много разных камелий, лилий, тубероз — цветы Чехов всегда любил, еще в Мелихове занимался этим.

Наконец, в первых числах сентября (99-го года) Мария Павловна привезла ему «мамашу». «Помаленьку размещаемся в большом доме. Становится сносно».

Полвека назад мне пришлось побывать в этом доме. Я видел только кабинет Антона Павловича — и самого хозяина.

Как тогда полагалось, в кабинете этом турецкий диван, много фотографий на стенах. Темные обои, на столике разные мелочи, безделушки. Большой камин, над ним Левитан написал пейзаж — русский вечер, стог на лугу, подымающаяся луна. Письменный стол с чернильницей, свечами в подсвечниках, на столе моя рукопись, на неё капнуло стеарином со свечи... — и сам всё тот же Антон Павлович Чехов в пенсне, на диване, молчаливый и прохладный, но в конце концов ободряющий: вечный образ старшего писателя, к которому притекает новичек — на этот раз уже не лже-покупатель.

Сколь могу судить, дом спокойный, без роскоши и размаху, но удобный, изящный, и как Чеховым полагается, скромно-благообразный. Для Евгении Яковлевны весь этот Крым, горы, татары казались, конечно, экзотикой, не близкой и не православной. Да и Павла Егорыча не было. Не было, в

сущности, всей её полувековой жизни с ним. От Павла Егорыча здесь остался один (главный) след: икона Иоанна Бogo-слова, которую написал он еще в Мелихове. Антон Павлович сам приказал почему-то привезти её сюда.

В октябре возил он мать и сестру смотреть Кучукóй — дачку с клочком земли, которую прикупил так, между прочим, из-за красоты местности. Но дорога туда шла по такой круче, что Евгения Яковлевна была просто в ужасе и всё время молилась. Кучукóй и ей и Марии Павловне очень понравился. Всё-таки Антон Павлович с ним промахнулся: для спокойных, великорусско-мелиховских душ это слишком пряно. Никогда они там и не жили.

Мария Павловна в октябре уехала в Москву. Чехов остался с матерью. Он очень любил её, как сын был внимателен и почтителен, из путешествий всегда привозил подарки, поздравлял в письмах с именинами, здесь устроил её отлично и для неё вывез из Московии Марьюшку, какую-то Доримедонтовну, облики прежней жизни в Мелихове. Но её мир и его — слишком разные. Вряд ли мог даже он с ней о чем-нибудь разговаривать, кроме хозяйства и повседневности. Повседневности очень уж много и в его отношениях с сестрой, даже не слишком ли. Что же сказать про Евгению Яковлевну кроме только того, что всё же лучшими подспудными своими чертами он обязан именно ей.

Во всяком случае он чувствовал себя в этой новой жизни одиноко. Несмотря на удобный дом, близость матери, на успехи, было у него чувство изгнания и тюрьмы. Где-то на горизонте Москва, Художественный театр, «Дядя Ваня», Книппер («если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину») — с ней переписка становится более постоянной. Там жизнь, театральные успехи и тревожнения. Здесь он морит мух у матери персидским порошком, смотрит, как татары «усердно работают», выбирают какой-то щебень. У забора дорожка обложена камнем — события все замечательные.

Сестре он почти всегда писал, еще в мелиховские време-

на, или о керосине, или об изразцах; купи фунт свечей, коробку сардинок, заплати какому-нибудь Роману полтора рубля. Появляющейся Книппер не совсем так. «Ночью был пожар, я вставал, смотрел с террасы на огонь и чувствовал себя страшно одиноким».

Но вот в ноябрьском письме сестре есть кое-что и по существу. «Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны, точно дразнишь; точно не знаешь, какая скука, какой гнет ложиться в 9 ч. вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как всё равно не видишь и не слышишь своей работы».

«Пианино и я — это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас некому играть».

Но тут он ошибался. Пианино безмолвствовало, а «предмет» как раз здесь и замыслил и написал повесть «В овраге» — украшение нашей литературы.

**
*

Суворин был самый даровитый из всего окружения Чехова (кроме Левитана). «Большой человек», говорил о нем Чехов. Письма к Суворину самые интересные из всей чеховской переписки.

Но жизнь есть жизнь — вечное перемещение. Друзья приходят и друзья уходят.

Да и вряд ли Чехов особенно кого-нибудь любил. В жизни его на место одних «друзей» без особых драм появляются другие, если не друзья, то заместители.

Беда Суворина была «Новое Время», газета пренебрежительная. Чехов сам много в ней печатался, но многое и тогда его раздражало, начиная с Буренина. Тон цинический, издевательский никак не мог ему нравиться. И чем дальше, тем больше. «Новое Время» — выразитель правительственного и чиновного Петербурга — всё менее ему подходило.

Чехов политикой не занимался, но симпатии свободолобивые у него были. На Сахалине и на Дальнем Востоке он многое увидел такое, что «Новому Времени» тоже не подходило. «Горе сытым, горе богатым, горе заимодавцам» — нововременцы были именно сытые и прихлебатели, как-то они неприятно лоснились.

В девяностых годах медленно, но неуклонно отходил Чехов в другую среду — «Русская Мысль», «Русские Ведомости» — либеральная интеллигенция того времени. Подошло дело Дрейфуса, подошли студенческие беспорядки. «Новое Время» заняло крайнюю позицию. Чехов оказался на одной стороне, Суворин на другой.

В России же вообще «начиналось» нечто. Отживал один век, начинался другой. Страшные потрясения близились.

«Гордо реет буреvestник, черной молнии подобный» — трудно представить себе что-нибудь более пошлое и безвкусное, чем такой «Буреvestник» (стихотворение в прозе, с убогим ритмом), но это было роковое произведение, как роковым оказался и сам Алексей Максимыч Пешков (Горький) — воплощение дешевого романтизма революции. Почва же для революции была. Само «Новое Время» готовило её. А дешевка Горького подходила к тогдашним вкусам. (Что говорить о малых сих: Горьким увлекались Станиславский, Ермолова).

Чехову он, конечно, не нравился, не мог нравиться. Но вот всё-таки Горький с ним познакомился, стал кадить ему, держался как преданный, верный ученик. Всё это действует, конечно. Да Горький был и очень даровит. Из середины выделялся. Много видел, много пережил, не лишен был черт душевности, даже сентиментальности. В некоем смысле Чехову было с ним интересно.

Горький оказался связью Чехова с миром, ему вовсе неподходящим, куда он, собственно, и не вошел, но соприкоснулся: с марксистами. Считал, что они «рыжие» — главный их признак. Бегло упоминает еще о «марксистах с надутыми

физиономиями». Но появляются первые марксистские журналы «Начало», «Жизнь» — и в этой «Жизни» повесть Чехова «В овраге». О ней Горький написал восторженную статью.

От Чехова ничего не убавилось, что он напечатал в «Жизни» свою повесть. В некоем роде даже прибавилось. Лишний раз показал он себя как человека: в объявлении журнала выдвинул имя Чехова крупным шрифтом. Как и раньше, в случае сходном, Чехов написал и этому редактору (Поссе): не надо выделять, пусть будет он как все, как сотоварищи.

Для марксизма могло быть в повести интересно только внешнее: что Цыбукин «кулак», что в его лавке продавали иногда тухлое, что рабочие жили плохо, а фабриканты Хрымины хорошо.

На самом деле всё сложнее. Конечно, Уклеево, село стоявшее в овраге, тем лишь и было известно, что там на поминках дьячек съел всю икру — это село Яма. Но и над Ямой бывают звезды, бывают и такие закаты, которые никак не похожи ни на лавку, ни на фабрику. Золото их, неземная прозрачность, невероятная нежность облачков, блеск креста в солнечных лучах говорят о лучшем мире. Говорят о нем (собой, своим обликом) некоторые и люди — не одни Аксиньи там живут, не одни фабриканты и лавочники.

Предтеча повести этой, конечно, «Мужики». Но тут взято еще острей, глубже и написано еще совершенней. Нет крестного хода с Живоносною, но есть те, в ком живет Живоносная. Есть облик Матери-Девы (хотя Липа замужняя и у ней ребенок), есть и вечная трагедия Матери. Что тут делать марксизму?

Зло и грубость и жадность, жестокость внешне победительны. Но как и в «Дяде Ване» внутренние побеждают смиренные и святые. Партия Аксиньи, Цыбукина, Хрыминых — это одно, а Варвара, Костыль и особенно Липа — другое. Во внешнем всегда правят и будут править одни, во внутреннем всегда побеждать другие. В жизни оврага они тонимы, нищи

и незаметны. Они заметны и сиятельны только в золотом закате над оврагом. Акси́нья может отлично обварить из злобы младенца Липы и в овражной жизни это ей проходит безнаказанно, даже она и преуспевает потом в союзе с Хрыминым. Но вверху побеждает Липа. Побеждает она так же, собственно, как зло было побеждено тем Добром, Которое вознесли на Крест: вознесли, сами же им и были побеждены.

Когда безвинно погиб от людской злобы младенец Никифор и Липа несет тельце его из больницы домой в Уклеево, ей встречаются ночью у костра мужики, старик и парень. Кому повем печаль мою? В раннем рассказе — старик-извозчик поведал своей лошади. Здесь молодая женщина случайным людям. Да, она рассказывает.

«Старик поднял уголек, раздул — осветились только его глаза и нос, потом, когда отыскиали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на неё; и взгляд его выражал сострадание и нежность.

— Ты — мать, — сказал он. — Всякой матери свое дитё жалко».

Потом опять стало темно, длинный Вавила возился около телег.

«— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет, мы из Фирсанова».

При всей внешней скромности Чехова это недалеко от слов Самарянки у колодца Иаковлева: «Вижу, что Ты пророк!».

Старик не пророк и не святой. Он «из Фирсанова» — в этом весь Чехов. Но самый тон разговора таков, будто дело происходит не близ Фирсанова (чтобы не сказать Мелихова), а в Самарии или Галилее.

Старик взял Липу с собою в телегу, подвез. И тут, под русским небом, в тишине звезд наших происходит разговор, вновь возводящий к Священному Писанию (хотя о Писании этом не сказано ни слова).

Липа рассказывает, как весь день мучился её ребенок.

«Господи, батюшка, Царица Небесная! Я с горя так всё и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?

— А кто ж его знает! — ответил старик».

Проехали с полчаса молча.

« — Всего знать нельзя, зачем да как, — сказал старик. — Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так и человеку положено знать не всё, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает».

Больше он ничего не говорит, но подразумевается: знать нам не дано, а принимать надо. Собственно, начинается уже книга Иова. («Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал основания земли? скажи, если знаешь». «Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь всё это». «Отверзлись ли для тебя врата смерти и видел ли ты врата тени смертной?»).

Никогда старик из Фирсанова не читал Иова, вряд ли читал его и Чехов, но смысл всё тот же, Бог тоже всё тот же, лишь Новозаветный, та же и тайна судеб наших (за что? почему?). Тот же извечный материнский вопль о погибающих младенцах, что раздавался и во времена Ирода.

Иногда ведет этот вопль к возмущению, бунту: не приемлю судьбу, восстаю, возвращаю билет. Не так с этой Липой. Она не восстанет и не восстает. Именно потому, что смиренно приемлет — вот мир и свет через само страдание к ней сходят. В доме Цыбукина, в зловонной Яме только лишь Варвара в келейном своем углу нерушимо противостоит злу. Всё остальное разваливается. Муж Липы Анисим в тюрьме — фальшивомонетчик. Старика Цыбукина, ослабевшего с годами, выгоняет та же Аксинья и он всё теряет — но *конечная* судьба этой Аксиньи тоже пока неизвестна.

Липа не живет больше в доме Цыбукиных, она так же бедна, как и её мать, но Царство Божие именно в них, как и в подрядчике Костыле: мир души, свет и благоволение.

Вот как кончается повесть: вечер, очень светлый и ясный. Бабы и девки возвращаются домой со станции, где нагружали вагоны кирпичем. «Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился, и можно отдохнуть».

Спускаясь в Уклеево, в этом златистом осеннем вечере, встретили они старика Цыбукина. «Липа и Прасковья немножко отстали и, когда старик поровнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:

— Здравствуйте, Григорий Петрович!

И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть». «Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились».

Это и есть конец той удивительной повести, которая начинается дьячком, съевшим всю икру, а кончается словом: «крестились».

Чехов милует в этом своем писании и фальшивомонетчика Анисима (из тюрьмы приславшего лишь строчку: «Я всё болею тут, мне тяжело, помогите ради Христа» — строчка как бы зачеркивает сразу его грехи), и старика Цыбукина, тоже много грешившего, а на старости лет принимающего подаяние нищей снохи.

На всей повести лежит некий волшебный оттенок. Над уклеевской Ямой странным образом летит — именно летит, а не проходит, почти невесомый облик Липы, то в звездной ночи с младенцем на руках, то в блеске заката с торжествующей песнью и смиренной любовью. Так она в сердце и остается. Можно сказать: Чехову дано было написать в этой Липе с младенцем почти видение евангельского оттенка.



«Мне кажется, что я живу в Ялте уже миллион лет» — это написано в январе 1900 года. В том же январе избрали его почетным академиком по разряду изящной словесности, вместе с Толстым. Толстого нельзя было удивить никакой Академией — он даже не поблагодарил за избрание. Чехову, в скучной ялтинской жизни, это могло служить развлечением. Но вряд ли больше. Двенадцать лет назад Пушкинская премия взбудоражила всю его семью. Теперь обошлось тихо.

Антон Павлович кратко поблагодарил, в письмах же отзвуков мало. Вот первый: «Я, начиная с 17 января (день именин и возведения в бессмертный чин) был болен и даже подумывал, как бы не обмануть тех, кто выбрал меня в «бессмертные», но ничего, ожил и теперь здравствую, хотя, впрочем, с мушкой под левой ключицей».

Потом отдышался и в феврале пишет В. Н. Ладыженскому уже веселее. Тот поздравил его с избранием. Чехов ответил очаровательным письмом — он Ладыженского, поэта и пензенского земца, видимо любил (да не любить Владимира Николаевича было и трудно разумному человеку). Чехов всегда его дружески дразнил, считал, что он порет мужиков, и т. п. Письмо так и начинается: «Vive Penza! Vive monsieur le membre de l'hôtel de Zemstvo! Vive la punition corporelle pour les moujiks!» Ладыженский был добрейший русский либерал прошлого века, в хорошем смысле барин. Чехов писал ему, например, так: «Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика, и если нужно, то посеки». «Прощай как человек, но наказывай как дворянин».

Дальше в ответном письме так сказано: «Благодарю тебя и за поздравление с избранием в академики и позволяю себе выразить тебе сердечное соболезнование по поводу того, что ты не был избран. Против твоего избрания сильно восставал Антоний, митрополит Санкт-Петербургский. «Пензенских», говорил он, «нам не надо».

Самому Чехову по-настоящему «надо» было тоже не пензенских. Самое интересное для него теперь — Художественный театр, в нем одна актриса, Ольга Леонардовна Книппер.

После «Дядя Вани» театру хотелось получить от него новую пьесу. Пьесы пока еще не было, в письмах он отговаривался (по словам Станиславского) тем, что не знает, в сущности, их театра — действительно, видел только раз «Чайку» в мае 99 г., для него ставили, без публики.

Чтобы показать театр и вообще с Чеховым ближе сойтись, решили весной ехать всей труппой в Крым, играть в Севастополе и Ялте. Так всё и вышло.

На Страстной двинулись из Москвы табором: жены, дети, няньки, чуть ли не самовары. Остановились в Севастополе в гостинице Кйста, наводнили собой, разумеется, всё — и у Кйста, да и для города это было событием. Билеты шли нарасхват. В Ялте заранее все спектакли оказались разобраны.

Привезли с собою «Чайку», «Дядю Ваню», «Одиноких» Гауптмана, «Гедду Габлер» Ибсена. Пасху встречали в Севастополе. Станиславский простодушно (чтобы не сказать больше) сообщает, что разговорились очень весело, потом пошли на рассвете к морю, где от доброго настроения «пели цыганские песни и декламировали стихи под шум моря». Нехватало только Максима Горького. Он бы им продекламировал после Пасхальной заутрени «Буревестника».

За Чеховым ездила в Ялту Книппер. Вернулась с известием, что здоровье его неважно. Всё-таки он на второй день Пасхи приехал — они встречали его на пристани. Он последним вышел из кают-компании, удивил всех плохим видом. Сильно кашлял, побледнел, воротник пальто поднят, глаза невеселые и нездоровые. А в Севастополе погода была неважная. Холодно, ветрено. Конечно, к нему приставали с расспросами о здоровье. Он отвечал как всегда:

— Я совсем здоров.

И вероятно посылал в душе этих актеров, кроме одной актрисы, туда, куда и надо. Притом не вполне был прав. Де-

ляли они это по непониманию, к нему же относились чуть ли не восторженно. На нелюбовь к себе Художественного театра Чехов не мог жаловаться. Его очень любили. Да и не одни актеры, публика тоже.

Гастроли сошли отлично. Правда, играли в холодном театре, в актерских уборных из щелей дуло, актрисы одевались рядом в гостинице. Чтобы получить полный свет в «Чайке», Немирович велел дать такой ток, что погасло освещение в половине городского сада. Но все эти трудности мелкие. Главное, был успех, успех большой.

Для Чехова, помимо того, что тут рядом Книппер, всё это было большим развлечением, особенно после скуки Ялты. Он бродил по уборным, сидел днем с актрисами перед театром, на солнышке — грелся. Острил, разумеется. Вечером публика его вызывала. Станиславский считает, что Чехов «был в отчаянии», но всё-таки выходил.

Насчет отчаяния... — скажем: преувеличено.

Чехов любил славу. Слишком был умен и сдержан, чтобы с этим вылезать, но всё-таки любил. Известная застенчивость, нелюбовь к шуму, толпе делали для него стеснительным самое появление перед публикой — это возможно. Но страдал он не тогда, когда в Москве, Севастополе, а потом по всей России ему аплодировали, а когда в Петербурге свистали «Чайке». Чехов слишком большая величина, чтобы причесывать его под Станиславского.

Так начиналась весна и лето, оказавшиеся для него решительными.

Из Севастополя театр перебрался в Ялту. Там получилось то же самое: восторги, поклонение, триумф. Но теперь вся ватага актеров, из которых самым шумным, с большой искренностью собой восхищавшимся, был Вишневский — всё это в свободные часы толклось в доме Чехова. Завтраки, обеды, чай — непрерывно. В Ялту съехались и писатели: Горький, Бунин, Елпатьевский, издатель «Журнала для всех» Миролубов, Не-

мирович, Мамин-Сибиряк — как бы литературный штаб Чехова. И тоже держались при нем.

Кормили, поили всю эту компанию, конечно, Мария Павловна и Евгения Яковлевна с сонмом разных Марьюшек и Марфуш и иных дворовых. Столпотворение получалось именно такое, какое всем видевшим ту эпоху известно отлично. Где порядок или система у русского писателя начала века, или где западная замкнутость? Об этом говорить не приходится. Являлись друг к другу с утра, разговоры без конца, философствования или споры, пить и есть можно тоже сколько угодно — приготовят всё руки малых сих.

Ольге Леонардовне Книппер Чехов писал еще раньше (со слов Немировича) — что когда приедут в Ялту, будут репетировать и вечером. Займут, однако, ценных представителей труппы, «прочие же будут отдыхать, где им угодно. Надеюсь, что Вы ценная, а для автора — бесценная». Вот под этим углом воспринимал он, вероятно, весь кавардак и нашествие актерско-писательское на его дачу в Аутке. Шумно и утомительно, но это жизнь. Недуг подтачивает, но и обостряет самое чувство жизни. Любовь тоже сжигает, разумнее жить в санатории, чем любить. Но он именно полюбил, и Бог с ней, с санаторией.

Труппа играла в Ялте в конце апреля. Станиславский по-детски восхищался Горьким, Горький рассказывал им замысел своего «На дне», а Книппер помогала уже Марии Павловне по хозяйству. Очень ли нравилось это Марии Павловне — другой вопрос.

Тут занавес опускается, и про то лето, по отъезде труппы, можно сказать так: достоверно известно, что пьесу свою «Три сестры» Чехов начал не позже июля (лучшая роль в ней для Книппер). Бесспорно также, что этим летом сама Книппер оставалась в Крыму. В начале августа она уехала в Москву. 9-м авг. помечено письмо к ней Чехова из Ялты. Начинается оно так: «Милая моя Оля, радость моя, здравствуй!» — первое письмо к ней на «ты». Оно всё и выдает. Вот в Се-

востополе он проводил ее на поезд, тоскует, бродит, от нечего делать едет в Балаклаву. «Мне всё кажется, что отворится сейчас дверь и войдешь ты. Но ты не войдешь». «Прощай, да хранят тебя силы небесные, ангелы хранители. Прощай, девочка хорошая».

Борис Зайцев

Д Л Е Н Ь Е

Нету времени — пропало!
Как дыра футляр пустой.
Без конца и без начала
Растянулся день шестой.

Утомительного дленья
Скуку я терпеть готов.
Но хочу, чтоб в Воскресенье
Ждал нас отдых от трудов.

Чтобы не было страданья,
Ни вражды добра и зла.
Чтоб невеста на свиданье
В платье розовом пришла.

Но он длится, длится, длится
Бесконечный этот день.
Солнце светит, не садится
И луне подняться лень.

Только в воздухе лиловом
Замирает птичий крик,
И лежит в гробу дубовом
Сумасшедший часовщик.

Владимир Злобин